

РУССКАЯ БИБЛИОТЕКА ТОЛСТОВСКОГО ФОНДА Russische Bibliothek Veranstaltungen Sozialberatung



Бюллетень № 150 Сентябрь 2011

Bulletin № 150 September 2011

Das Bulletin wird seit 1975 herausgegeben. Es erscheint vierteljährlich. Der Herausgeber ist:

Бюллетень выходит с 1975 г. Его издает четыре раза в год:

Tolstoi-Bibliothek Thierschstr. 11 D-80538 München Tel..: 089/299 775

Fax: 089/2289312

tolstoi@tolstoi-bibliothek.de www.tolstoi-bibliothek.de

Redaktion und Verantwortung für den Inhalt: Tatjana Erschow

Главный редактор: Татьяна Ершова

## Барбара Грин

# ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ: ЗАСТЕНЧИВЫЙ ПРОРОК

В чайхане иранского города Решта вольготно расположились два удивительных персонажа. Один был одет в долгополый сюртук и пестрые штаны. Другой укутан в живописные лохмотья. Их окружали местные жители: кто-то, сидя на корточках, молча разглядывал приезжих, кто-то быстро и оживленно говорил на фарси. Незнакомцы задумчиво пили зеленый чай и, казалось, ни на кого не обращали внимания.

У входа в чайхану остановились двое по-военному снаряженных мужчин. – Кто это такие? – удивленно спросил тот, что был во френче и маленьких запыленных очках. – Определенно не местные... Они прибыли с нами? Я, кажется, знаю всех в штабе армии, но их ни разу не встречал.

- Да, Алексей, они приписаны к нашему корпусу, улыбаясь, отвечал другой.
  Полагаю, завтра или послезавтра вы встретите их в редакции. Одного зовут Мечислав Доброковский, он художник. Второй же Велимир Хлебников.
- Хлебников?! Алексей Костерин, сотрудник редакции газеты «Красный Иран», с недоумением вгляделся в темноту чайханы. Тот самый? Поэтфутурист? Будетлянин? Невероятно! Помнится, году в 1913-м я был в Петербурге на лекции, которую читал Давид Бурлюк. Она называлась «Пушкин и Хлебников». Был аншлаг, давка, студенты ломали двери... Бурлюк тогда убедительно доказывал, что Пушкин это отмершее искусство, которое надо сбросить с парохода современности. И что на его место пришел как раз Хлебников, король поэтов. Я, признаться, с некоторым скепсисом все это слушал. Но дамам нравилось... Послушайте, но кто бы мог подумать, что семь лет спустя я встречу его и где! В Реште! В этаком виде!
- Семь лет назад, задумчиво сказал его собеседник, замначполка Персармии, я был безусым гимназистом, писал пародии на Северянина и хотел стать скульптором, тогда как папаша мечтал сделать из меня зубного техника. А теперь, как видите, провожу большевистскую политику в Иране. Пожалуй, наши с вами судьбы ничуть не менее причудливы, чем судьба товарища Хлебникова.

Причудливым было все: время, люди, запах цветущих гранатов, разносящийся в воздухе... Велимир Хлебников проводил долгим взглядом две фигуры по ту сторону улицы, отпил крепкого чая из пиалы и снова закурил терьяк, свернувшийся на солнце сок волшебного растения — опийного мака, которым здесь угощали всех без разбора. Вероятно, со стороны они с Мечиславом выглядели странно, но Велимир об этом вовсе не думал. Здесь, в стране, название которой навевало ассоциации с «Тысяча и одной ночью», он чувствовал себя на удивление комфортно. Позади - голодная Москва, замерзающий Петербург, залитая кровью Астрахань... В Иране, куда его занесла вечная тяга к странствиям, все было спокойно, как, вероятно, и сто, и тысячу лет назад. Здесь были шах и его визири, дехкане и прорицатели, по субботам на площади маленького старинного рынка собирались заклинатели змей и рассказчики чудесных затейливых историй. А сам Велимир — поэт божьей милостью — считался местными жителями кем-то вроде дервиша. Что убедило их в этом? Бог весть. Он выглядел необычно: высокий, с покатым лбом, ярко-голубыми глазами и взглядом одновременно

отрешенным и пристальным. Босоногий, бородатый, с космами спутанных волос, он и вправду походил на бродячего мудреца.

Целыми днями они возлежали в чайхане, не задумываясь о деньгах, о времени, о том, что совсем неподалеку шумит Гражданская война, а на Каспии орудует Деникин. Доброковский с его фантастической памятью быстро выучил фарси и разъяснял собравшимся политику большевиков на цветастом языке, больше подходящем для притч и загадок. Желающим он рисовал портреты и даже не брал денег: страждущие сами оставляли серебряные монеты на небольшом подносе. Не глядя, небрежным жестом Мечислав отдавал их чайханщику, и тот проворно приносил ароматный хорезмский плов с курагой и зернышками граната, пиалы с чаем, горячие чуреки и маленькие кусочки сахара, которые можно было долгодолго посасывать. Велимир же просто сочинял стихи и тут же их декламировал, разглядывал собравшихся или думал о свойствах времени и числовых закономерностях Вселенной.

За много миль отсюда добрейший Владимир Алексеевич Хлебников с удивлением рассматривал полученное от сына письмо. Недавно еще тот был в Баку, теперь же, оказывается, приписан лектором к Персармии — части Красной Армии, которая вознамерилась сделать Персию, то есть Иран, красной. Владимир Алексеевич недоуменно вглядывался в пояснения: возникла какая-то Гилянская республика в провинции Гилян, сбросившая англичан. Появился какой-то Мирза Кучук-хан, потом его разбил какой-то Эхсанолла. И теперь боевая Красная Армия в союзничестве с Эхсаноллой собирается добраться до Тегерана, захватить престол шаха и основать Иранскую Советскую Республику. Ведь взяли же большевики Азербайджан — почему бы им не замахнуться и на Иран?

Все это было странно, странно и неправдоподобно — Персидская Красная Армия, Красный Иран, Виктор, ставший вдруг лектором у красноармейцев... То есть, черт, Велимир... Отец так и не привык называть сына его творческим именем. Но какой же из него лектор? Он же ужасно стеснительный! И это всем известно. Ведь он и свои-то стихи публично читать так и не научился — начнет за здравие, а потом стихнет, скиснет, на середине поэмы буркнет: «Ну и так далее...» и уйдет со сцены.

Да и поэмы эти... Владимир Алексеевич протирает пенсне, вздыхает и вновь водружает его на место. Он никогда не был чужд поэзии, живописи, музыке, но стихи сына — нет, он решительно не способен понять эти новые законы стихосложения, эту футуристическую заумь, все эти хитросплетения, которыми Витя исписывал лист за листом. «Бобэоби пелись губы, вээооми пелись взоры», «О, лебедиво! О, озари!», «О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей»... Или и того пуще, как у его приятеля, Крученых: «Дыр-бул-щыл, убещур». Воля ваша, это уже чересчур. Витя как-то писал, что сочинил стихотворение из одних знаков препинания. Интересно, как он его читал вслух...

Нет, не такой судьбы Владимир Алексеевич желал своему сыну. В Астрахани Велимира и его последователей-футуристов называли «идиотичами» и «дураковичами» — что ж тут приятного? А отзывы в солидной прессе? «Вымученный бред претенциозно бездарных людей...» Каково выносить все это почтенному статскому советнику? А ведь в детстве Витя подавал надежды. Ему замечательно давалась геометрия, он знал толк в точных науках. Владимир Алексеевич души не чаял в исследованиях птиц — его коллекция была одной из самых больших на Юге России, и сын ему в этом помогал: изучал кладки, оперения, следил за миграцией селезней... Да что там! Когда Витя поступил на

физико-математический факультет Казанского университета, Владимир Алексеевич на радостях даже выпил больше обычного — университет был старейшим, там преподавал еще Лобачевский, Витя мог бы стать большим ученым, если бы приложил усилия.

Если бы... Впоследствии Владимир Алексеевич много размышлял: непременно ли суждена была его сыну такая судьба – бросить все, стать поэтом, прославиться, но при этом столько лет вести кочевую, неприкаянную жизнь с вечными насмешками за спиной? Быть может, поэтическое дарование в нем было заложено с детства — но ведь в математике тоже столько поэзии! Грамотно доказанная теорема красива, как только что написанная картина, как поэма — в ней столько гармонии! И что было бы, не случись у Казанского университета этой идиотской студенческой демонстрации, если бы ее не стали разгонять казаки, если бы Витя не попал в тюрьму. И ведь ничего такого студенты не делали — ну подумаешь, скопились у входа в университет, пели песни... И ведь это был не революционный 1905 год, а еще вполне тихий 1903-й. Зачем понадобилось напускать на студентов конных казаков, да еще с нагайками?

Виктор Хлебников вместе с целой компанией студентов — более тридцати — был задержан как подстрекатель. Никого он, разумеется, не подстрекал — просто вышел вместе со всеми и не побежал, когда их стали задерживать. В тюрьме он провел месяц — и этот месяц изменил всю его жизнь.

Нет, он не стал социалистом, не разбрасывал прокламации. Но вся его жизнерадостность, самоуверенность куда-то исчезли. На лекции он теперь ходил через силу, а вскоре и вовсе бросил университет и уехал в Питер – к ужасу и негодованию отца.

Отныне и навсегда Владимиру Алексеевичу оставалось лишь читать короткие письма, присылаемые из самых разных уголков России: то из Питера, то из Таганрога... В Петербурге Виктор Хлебников пытался изучать санскрит, но вскоре стал Велимиром, вошел в поэтические кружки, произвел впечатление, начал печататься – и об учебе, об образовании разговоров больше не было.

Иногда он приезжал к родителям, с гордостью показывал доказательства своего успеха: журналы с вычурными названиями, маленькие сборнички стихов – один издан в Питере, другой в Москве, третий почему-то в Херсоне. Заковыристые названия: «Мирсконца», «Ряв! Перчатки 1908–1914», «Бух лесиный», «Садок судей». Серая бумага, прыгающие строчки, вместо типографского шрифта – написанные от руки кривые буквы. Увидев поэму «Игра в аду» с повешенным хвостатым чертом на обороте, Владимир Алексеевич невольно перекрестился.

Особенную гордость у сына вызывала листовка с возмутительным названием «Пощечина общественному вкусу». На ней — фотография шестерых провозвестников будущего, назвавших себя футуристами: здоровяк в котелке — Давид Бурлюк — нагло пялится в пенсне на зрителей, рядом сидят два задумчивых юноши в одинаковых меховых шапках, еще какой-то желчный человек, похожий на почтальона, и совсем уж бандитского вида гражданин — обросший, в широкополой шляпе, с сигаретой в зубах, ну точно сбежавший откуда-то каторжник. Некто Владимир Маяковский. И вместе с ними — грустный Витя... Хотя отчего бы ему грустить? На обороте листовки его называют гением, великим поэтом современности...

Владимир Алексеевич не понимал, зачем общественному вкусу нужно отвешивать пощечины и почему это должен делать его Виктор – по натуре

незлобивый, застенчивый, скромный. «Всем этим Максимам Горьким, Куприным, Блокам, Сологубам, Аверченко, Черным, Кузминым, Буниным и проч., и проч. – нужна лишь дача на реке», – нагло гласил манифест. Сын пытался объяснять – говорил про футуризм, про новое время, которому требуется новый язык, про заспанных мещан, которых надо встряхнуть, - но все обычно кончалось ссорой: она вспыхивала, как лес во время засухи. Виктор вскакивал из-за обеденного стола, задевал головой низко висевшую лампу и, чертыхаясь, следующим же утром покидал родительский дом – отправлялся обратно в Питер, или Москву, или Харьков, или под Вологду. Владимир Алексеевич вздыхал и через месяц снова посылал сыну деньги: бог с ними, с разногласиями, с этими странными стихами, не умирать же родному сыну с голода? Было не похоже, что его чудные поэмы приносят Виктору хоть какой-то доход.

Младший брат Виктора, Шура, докладывал отцу из Москвы: похоже, Витю обманывают тут все, кому не лень. Он такой непрактичный... Его книга имела успех, а он не получил ни копейки! Эти окружающие его прохвосты, эти братья Бурлюки – они превозносят его, называют Освободителем Стиха, Королем Поэтов, Маяковский вообще говорит, что вся поэзия началась с Хлебникова, - и что же? Витя ютится в крохотной маленькой комнатке, питается чем попало, спит на кровати без простыни, вместо подушки – наволочка, набитая стихами. Конечно, ему это все равно, он вообще равнодушен к комфорту – но все же, все же! Как так выходит, что «гений современности» не имеет средств, даже чтобы просто поесть? В то же время его книгу собираются переиздавать, про него рассказывают на публичных лекциях, о нем пишут, его творчество обсуждают... Его коллеги-футуристы чувствуют себя куда лучше! Особенно Маяковский...

Бродя по тихому, разморенному солнцем Ирану, Хлебников с улыбкой вспоминал далекие Москву и Питер и свои первые поэтические успехи. Совсем недавно, когда он прибыл в Баку, у него был отличный повод вспомнить все это – в Баку, как оказалось, уже обосновались старые его приятели, в том числе и Крученых, а главное – Вячеслав Иванов. Тот самый маг и волшебник, властитель поэтического Петербурга, хозяин знаменитой «башни из слоновой кости», куда когда-то, в 1909-м, трясясь от волнения, карабкался юный Хлебников. В Баку Иванов преподавал классическую филологию, открыл поэтическую студию «Чаша»; его очень занимали начинающие поэты – а когда-то он гипнотизировал лучших стихотворцев России. Все стекались к нему на поклон.

Знаменитая «башня из слоновой кости» и вправду оказалась башней – точнее, улице. Она башенкой-мансардой на Таврической была неправильной формы, разделенная на комнаты и комнатки, где в любое время дня и ночи кто-нибудь обитал – писал стихи, спорил о поэзии или просто выпивал. Хозяин выходил к гостям часам к трем дня. Пил чай, лежа на низком диване, работал над рукописями. Позже принимал ванну, к половине седьмого приказывал подавать обед – и начинался долгий, запойный разговор о мистике, эллинизме, дионисизме, Пушкине, восточных культах и особенностях персидской поэзии. Читал стихи Блок, его сменял Гумилев, мягко стелил свои строчки Максимилиан Волошин. Завершалось все под утро, а потом все начиналось по новой. Такой ритм был по силам не каждому: Андрей Белый выдержал недель пять, его приятель, символист Метнер, продержался три дня (над ним в башне потешались: слабоват оказался «русский Мефистофель»)... Иванов же жил так годами: вечно нарумяненный, свежий, словно роза. Мережковские звали башню «становищем» – и Иванов был в этом стане полноправным ханом: закутавшись в халат, он обходил свои владения, объявляя, что сегодня в провозглашенной им «Академии стиха» прочтут доклад о гимнах и лекцию о метафоре и символах, а Николай Гумилев, прибывший из Африки, представит свои новые стихи.

Юноша по фамилии Хлебников, нарекший себя Велимиром, завсегдатаям башни показался очень уж застенчивым. Он сидел за общим столом, краснел, мялся, запинался и целыми вечерами пребывал в полном молчании, лишь иногда вступая в разговоры. Освоившись, мог рассказать что-нибудь занятное — например, о месте, где он родился: в степях Калмыкии, в окружении кочевников, рядом с буддистским монастырем. Его отец был тогда попечителем Малодербетовского улуса — и вот вообразите: яркие флаги дацана... скрип молитвенных барабанов... ястребы, в воздухе очень много ястребов... чувствуешь себя крохотной гласной в бесконечном крике неба.

Рассказы были любопытными. Самое же поразительное случилось, когда этот тихий юноша стал читать свои стихи — краснея, еле шевеля бледными губами, но все-таки решительно. Такого в башне еще не слышали. Это был и не символизм, и не классицизм, и не «прекрасная ясность», в них не чувствовалось никакого подражательства — они были извилистыми, образными и очень странными. Кто-то назвал их «гениально сумасшедшими», кто-то непонимающе дергал головой, хозяин вкрадчиво советовал работать с метафорой, оттачивать интонацию — но Велимир упрямо гнул свое: он мог быть стеснительным и робким, но вот про свои стихи понимал куда больше, чем какой-нибудь Маковский, Иванов или даже Брюсов. Поэзия, эта чудесная языковая игра, овладела им полностью — и ничье мнение ему уже не было нужно...

- ...Командир Персармии отбросил странички «Красного Ирана» в сторону и недовольно буркнул:
- Мы что, литературный альманах выпускаем? Это боевой листок Красной Армии! К чему тут стихи? Да к тому же такие, как у этого вашего Хлебникова. Что, у нас много места? Каждый сантиметр газеты на счету! Нельзя ли быть порассудительнее? И вообще какой нам толк от поэтов?

Замначполка развел руками:

– Товарищ Гикало, стихи мы печатаем тоже. Местные все равно не читают на русском, а солдатам Хлебников нравится. Заковыристо, говорят, заворачивает. Он им и лекции читает. Как ни странно, от него есть прямой политический толк.

Да, это и вправду было странно — но от двух этих чудаков, Хлебникова и Доброковского, Персармии было куда больше прока, чем от целой роты солдат. Иранцы относились к красным настороженно, а то, что с большевиками путешествуют два дервиша, их отчего-то успокаивало. Местные почтительно называли Хлебникова Гуль-мулла — Священник цветов; его везде кормили и нигде, решительно нигде не требовали с него денег.

Что местные! Сам талышский хан нанял Гуль-муллу воспитателем к своим детям. Жить в ханском дворце после всех нескольких лет, когда приходилось спать на столах в разных редакциях, в прихожих, неотапливаемых кладовках, оказалось не так уж плохо. Хан ласково трепал его по плечу и приглашал вместе понаблюдать за золотыми рыбками: в специальной комнате в полу был вмонтирован аквариум, а над ним — громадное зеркало. Развались на подушках — и мечтай.

Безделье, бездействие и дурманящий терьяк пробуждали в Велимире все новые воспоминания: они наплывали друг на друга, словно пушистые облака, и уносились куда-то прочь.

Вот два франта, Мариенгоф и Есенин, навещают его в голодном Харькове: Велимир носит брюки, сшитые из занавесок, и собственноручно чинит штиблеты.

Вот он целуется в кустах сирени с хорошенькой курсисткой.

Вот рассказывает Бурлюку, что футуристы должны жить на острове, прилетать на материк, как птицы, на аэропланах и разбрасывать повсюду листовки с указаниями, как жить в новую эпоху.

Вот из-за любви он пытается зарезать поэта Лившица...

Удивительно, как часто он провоцировал скандалы! Из-за какой-то ерунды едва не стрелялся на дуэли с Мандельштамом... А как часто влюблялся! Лившиц, кажется, пострадал, потому что сел слишком близко к Ксане Пуни, жене художника Пуни, в которую Велимир втрескался по уши — слава богу, его вовремя удержал все тот же Бурлюк... А как хороша была студентка Леля Скалон, с которой он познакомился в кабаре «Бродячая собака»! Денег у него тогда, как всегда, не оказалось, нечем было даже угостить Лелю и ее подругу, так что пришлось ехать в Царское Село — занимать у Гумилева. «Но вы же не любите его поэзию!» — напоминали Велимиру. «Я сперва выложу ему все, что думаю о его стихах, а уж потом займу денег», — отвечал Велимир. И Гумилев действительно дал сколько нужно.

А что толку... Хлебников, увы, решительно не умел ухаживать. Он нравился дамам: высокий, интересный, загадочный. В «Бродячей собаке» все его знали, и он вполне мог бы произвести впечатление — владей он искусством флирта, ничего не значащей беседы, вовремя вкрученного комплимента. Вместо этого он накупил бутербродов и судорожно пытался придумать каламбуры с фамилией Скалой. Ничего не вышло: девушка прыснула и ускользнула, оставив поэта с разбитым сердцем.

Были и другие, и немало. Любительница поэзии, чья-то дочка, случайные дамы, встреченные на очередной даче, в очередном салоне, в гостях... Иные отдавались ему, другие называли чудаком и ласково целовали в лоб, третьи удивленно говорили: «Но я же замужем!» «Необычайно красив», — шептали за спиной. «Ребенок, сущий ребенок!» — припечатала Лиля Брик. Он влюблялся во всех — поочередно и разом. Пытался произвести впечатление, принарядиться — но тщетно: результат был комическим. Высокий и задумчивый, в ботинках с вечно отстающими подметками, примотанными веревочками, надевший для красоты длиннополый сюртук и обтягивающие черные брюки, но без воротничка и с голой грудью, зато с белой астрой в петлице и еще к тому же напудренный для пущего эффекта. Невероятный вид!

Один роман оказался серьезнее прочих: его пленила Надя Николаева, начинающая актриса. Она терпела все его чудачества и полную неприспособленность к жизни, умно разговаривала о японском искусстве и гравюрах укийо-э, и Велимир уже всерьез подумывал о женитьбе — но грянула Первая мировая, его призвали в армию, и свадьба окончательно расстроилась.

Да и кто мог бы это выдержать? Велимир был невероятно рассеян. Задумавшись, он мог застыть в кресле и просидеть так несколько часов. Случалось, хозяева квартиры забывали о нем и уходили по своим делам — так тихо он сидел, — а вернувшись, обнаруживали его на том же месте: озябшего, но

такого же тихого и задумчивого, черкавшего что-то на салфетке. Он забывал калоши, перчатки и шарфы, терял кошельки, путал номера домов, адреса...

Но с другой стороны – должен ли поэт жениться? Не помешает ли это общению с иными сферами? Дети, хлопоты, заботы по хозяйству... Хлебников иногда пытался себе это представить – не конкретно, а так, умозрительно, но ничего не выходило: виделся лишь какой-то туманный, непрозрачный шар, внутри которого плакали дети, шумел чайник и крутились талоны на сахарин и хлеб со жмыхом.

Идея семьи казалась ему какой-то мелкой. Его мечты имели совсем иной масштаб. Посмотрите, как все вокруг меняется! Еще немного, еще чуть-чуть – и все объединятся в одну большую семью, в которой не будет ни эллина, ни иудея, ни русского, ни немца... По радиоволнам польются лекции и песни, превращающие Землю в один большой организм. Изобретут тенекниги, передающиеся на расстоянии. Города неузнаваемо изменятся: дома будут состоять из отдельных стеклянных ячеек, которые можно будет вынимать и в них путешествовать: перевез ячейку на специальном поезде, нашел себе место в новом доме нового города — и живи, словно никуда и не двигался. Вообразите себе эти удивительные дома — они ведь могут быть любой формы: дома-волосы, дома-деревья, дома-качели...

И разумеется, управлять миром будет Общество Председателей Земного Шара – им, Велимиром, придуманное.

...25 мая 1917 года мимо Мариинского дворца двигалась странная процессия. Украшенный цветами экипаж с художником Репиным, еще один – с Леонидом Андреевым, еще один – с Сологубом. За ними на автомобилях чинно ехали мирискусники, футуристы, имажинисты... Художественный мир Петербурга рекламировал «Заем свободы»: чтобы победить немца, нужно собрать денег. Яркое солнце, яркие флажки и цветы... Однако что это за чудище вырвалось вперед? Огромный черный грузовик, на нем – черное полотнище с черепом и костями и надписью «З17 Председателей Земного Шара». А в грузовике, необычайно торжественный, стоял... Велимир Хлебников. Футурист и будетлянин, Освободитель Стиха, первый из Председателей.

«Почему 317?» — спрашивали его потом, и Хлебников тотчас принимался доказывать важность числа 317: потоком лились исторические даты, цифры важнейших сражений, дни рождений и смертей царей, полководцев и писателей. 317 — это ключевое число, при его помощи можно анализировать прошлое и предсказывать будущее. И разве не он, Хлебников, еще в 1912-м в своей книге предсказал падение государства в 1917 году? Тогда на это никто не обратил внимания...

Идея Общества была яркой, кто-то даже загорелся ею, но энтузиазм быстро схлынул, а вскоре и вообще всем стало не до нее. Хлебников звал в Общество лучших людей века — от летчиков и поэтов до китайских дипломатов, от Рабиндраната Тагора до Максима Горького, но никто не откликнулся. В квартире Осипа Брика он делал доклад о числах видным математикам, но те только покрутили пальцем у виска. О его стихах писали диссертации, а сам он попрежнему мыкался по общежитиям, гостиным друзей, по столовым сердобольных родственников, а однажды даже надолго задержался в психиатрической лечебнице — не потому, что нуждался в помощи, а потому, что надо было избежать мобилизации в армию Деникина.

Революция означала то самое будущее, о котором грезили футуристы, – но их кружок, увы, распался. Все разбежались в разные стороны, и всем нашлось в новой жизни какое-то место. Всем – но не Велимиру. А ему и нужно-то было совсем немного: комната, кровать без пружин, куда можно было положить наволочку со стихами; немного провизии и крепкие ботинки. И хорошо бы пальто... Сердобольные Брики пытались ему помогать – купили добротную шубу, хлопотали о публикациях. Но как хлопотать о таком непоседливом гражданине? Ему надо быть в Москве, суетиться по поводу выхода сборника, ловить гонорары, а он вдруг срывается и едет в Крым, или в Петроград, или в Киев – и ни денег, ни книги...

Он метался по разворошенной переменами России, словно перекати-поле, — везде ему было интересно, и везде было не то. Никто его не понимал, никто не хотел слушать про числа. Никому больше не нужны были его стихи. Ни в пустынном опасном Дагестане, ни в совсем изменившемся Питере, ни даже в нэпманской, сытой Москве, где, казалось, новые поэтические группировки размножались как грибы, — нигде он не чувствовал себя своим. Он читал лекции про японское стихосложение в замерзшем Харькове и сочинял стихи про Врангеля, смотрел, как ставят его пьесу в Ростове, и сочинял поэму из палиндромов про Разина. Рассказывал бакинским матросам про «Коран чисел» и советовал политотделу 11-й армии, как относиться к вопросам литературы.

И только здесь, в Иране, он внезапно почувствовал себя своим. Всадники на узких проселочных дорогах уступали ему дорогу, таинственные персидские ополченцы кормили его виноградом, дервиши читали ему суры, в деревнях провожали поклонами. Бок о бок с ним Персармия сдавала свои позиции: Красный Иран оказался блефом, красноармейцы спешно покидали чужую страну – но Хлебникова это словно не касалось. Он отказывался подчиняться, ему ничто здесь не угрожало – он шагал по древней земле, не заботясь об охране, не глядя на уходящий отряд, и все вокруг были его милостивые подданные, он же был самопровозглашенным Велимиром Первым. Человеком, который понял законы времени, разгадал тайны чисел и составил «Доски судьбы», по которым можно трактовать прошлое, настоящее и будущее – стоит только захотеть. И это будущее было совсем рядом – лишь руку протяни. Осталось только дойти...

...Председатель Земного Шара умер через два года от гангрены в деревне Санталово Новгородской губернии. До первой публикации «Досок судьбы» он так и не дожил.

Астраханская цифровая библиотека, 2011

#### ЧИСЛА

Я всматриваюсь в вас, о числа, И вы мне видитесь одетыми в звери, в их шкурах, Рукой опирающимися на вырванные дубы. Вы даруете — единство между змееобразным движением Хребта вселенной и пляской коромысла, Вы позволяете понимать века, как быстрого хохота зубы. Мои сейчас вещеобразно разверзлися зеницы: Узнать, что будет Я, когда делимое его — единица.

1911, 1914

\*\*\*

Эта осень такая заячья, И глазу границы не вывести Осени робкой и зайца пугливости. Окраскою желтой хитер Осени желтой житер. От гривы до гребли Всюду мертвые листья и стебли. И глаз остановится слепо, не зная чья — Осени шкурка или же заячья?

1915

\*\*\*

И черный рак на белом блюде Поймал колосья синей ржи. И разговоры о простуде, О море праздности и лжи. Но вот нечаянный звонок: «Мы погибоша, аки обре!» Как Цезарь некогда, до ног Закройся занавесью. Добре! Умри, родной мой. Взоры если Тебя внимательно откроют, Ты скажешь, развалясь на кресле: «Я тот, кого не беспокоят».

<1919>

\*\*\*

Русь, ты вся поцелуй на морозе! Синеют ночные дорози. Синею молнией слиты уста, Синеют вместе тот и та. Ночами молния взлетает Порой из ласки пары уст. И шубы вдруг проворно Обегает, синея, молния без чувств. А ночь блестит умно и чёрно.

<Осень 1921>

\*\*\*

(Нега – неголь...)

Неголи легких дум Лодки направили к легкому свету. Бегали легкости в шум, Небыли нету и нету.

В тумане грезобы Восстали грезоги, В туманных тревогах Восстали чертоги. В соногах-мечтогах Почил он, почил у черты. В чертогах-грезогах Почил он, почил у мечты.

Волноба волхвобного вира, Звеноба немобного яра, Ты всё удалила, ты всё умилила. О, тайная сила! О, кровная мара!

В яробе немоты Играли и журчали Двузвонкие мечты, Будутные печали. Хитрая нега молчания, Литая в брегах звучания, Птица без древа звучания, - О взметни свои грустилья, Дай нам на небо взойти, Чтобы старые постылья Мы забыли, я и ты!

Веязь сил молодых, Веязь диких бледных сил, Уносил в сон младых, В сон безмерно голубых...

За осокой грёзных лет Бегут струй любины. Помнит, помнит человек Ковы милой старины. Знает чары легких мен, Знает цену вечных цен.

Поюнности рыдальных склонов, Знаюнности сияльных звонов В венок скрутились И жалом многожалым Чело страдальное овили.

И в бездумном играньи играний Расплескалися яри бываний!

Нежец тайностей туч, Я в сверкайностях туч Пролетаю, летаю, лечу, Улетаю, летаю, лечу. В умирайнах тихих тайн Слышен голос новых майн. Я звучу, я звучу...

Сонно-мнимой грезы неголь, Я — узывностынь мечты. Льется, льется пленность брегов, Вьются дети красоты.

Сумная умность речей Зыбко колышет ручей. Навий налет на ручей — Роняет Ручей белых нежных слов, Что играет Без сомнения, без оков.

О яд не наших мчаний в поюнность высоты И бешенство бываний в страдалях немоты!

В думком мареве о боге Я летел в удел зари... Обгоняли огнебоги, Обгоняли жарири. Обожелые глаза! Омирелые власа! Овселеннелая рука!

Орел сумеречных крыл Землю вечером покрыл. «Вечер сечи ведьм зари!» — Прокричали жарири.

Мы уселись тесным рядом. Видеть нежить люди рады.

1907, 1914

\*\*\*

Смугол, темен и изящен, Не от тебя ли, незнакомец, вчера С криком «Маменьки! он страшен!» Разбежалась детвора?

Ты подошел, где девица: «Позвольте представиться!» Взял труд поклониться И намекнул с смешком: Красавица!»

Она же, играя перчаткой, Тебя вдруг спросила лукаво: «О сударь с красною печаткой, О вас дурная очень слава?»

«Я не знахарь, не кудесник, Верить можно ли молве? Знайте, дева, я ровесник». «.....».

Она же: «Извините! Задумчивый какой!»

Летят паучьи нити На синий водопой.

Пошли по тропке двое, И взята ими лодка. И вскоре дно морское Уста целовало красотке.

<1908>

# ПОГОНЩИК СКОТА, СОЖРАННЫЙ ИМ

В ласкающем воздуха леготе, О волосы, по плечу бегайте. Погонщик скота Твердислав Губами, стоит, моложав. Дороги железной пред ним полотно, Где дальнего поезда катит пятно. Или выстукивай лучше колеса, Чтоб поезд быстрее и яростней несся, Или к урочному часу спеши И поезду прапором красным маши. Там, за страною зеленой посева Слышишь у иволги разум напева. Юноша, юноша, идем, и ты Мне повинуйся и в рощу беги, Собирай для продажи цветы. Чугунные уж зашатались круги. Нет, подъехал тяжко поезд-Из железа темный зверь, -И, совсем не беспокоясь, Потянул погонщик дверь. Сорок боровов взвизгнуло, Взором бело-красных глаз, И священного разгула Тень в их лицах пронеслась. Сорок боровов взвизгнуло, Возглашая: смерть надежде! Точно ветер, дуя в дуло, Точно ветер, тихий прежде. Колеса несутся, колеса стучат! Скорее, скорее, скорей! Сорок боровов молчат, Древним разумом зверей урчат! И к задумчивому вою Примешался голос страсти: Тело пастыря живое Будет порвано на части.

<1909 - 1910>

#### ТРУЩОБЫ

Были наполнены звуком трущобы Лес и звенел и стонал, Чтобы Зверя охотник копьем доконал. Олень, олень, зачем он тяжко В рогах глагол любви несет? Стрелы вспорхнула медь на ляжку. И не ошибочен расчет. Сейчас он сломит ноги оземь И смерть увидить прозорливо, И кони скажут говорливо: «Нет, не напрасно стройных возим». Напрасно прелестью движений, Копьем искавших беглеца. Всё ближе конское дыханье. И ниже рог твоих висенье. И чаще лука трепыханье, Оленю нету, нет спасенья! Но вдруг у него показались грива И острый львиный коготь, И беззаботно и игриво Он показал искусство трогать. Без несогласья и без крика Они легли в свои гробы. Он же стоял с осанкою владыки – Были созерцаемы поникшие рабы.

1910

\*\*\*

Л. Г.

Αя Из вздохов дань Сплетаю В Духов день. Береза склонялась к соседу, Как воздух зеленый и росный. Когда вы бродили по саду, Вы были смелы и прекрасны. Как будто увядает день его, Береза шуметь не могла. И вы ученица Тургенева! И алое пламя повязки узла! Может быть, завтра Мне гордость Сиянье сверкающих гор даст. Может, я сам, К 7 небесам Многих недель проводник, Ваш разум окутаю, Как строгий ледник, И снежными глазами В зеленые ручьи Парчой спадая гнутою, Что все мы — ничьи,

Плещем у ног

Тканей низами.

Горной тропою поеду я,

Вас проповедуя.

Что звезды и солнце — все позже устроится.

А вы, вы — девушка в день Троицы. Там буду скитаться годы и годы.

Скоз

Буду писать сказ

О прелестях горной свободы.

Их дикое вымя

Сосет пастушонок.

Где грозы скитаются мимо,

В лужайках зеленых,

Где облако мальчик теребит,

А облако — лебедь,

Усталый устами.

А ветер,

Он вытер

Рыданье утеса

И падает, светел,

Выше откоса.

Ветер утих. И утух

Вечер утех

У тех смелых берез,

С милой смолой,

Где вечер в очах

Серебряных слез.

И дерево чар серебряных слов,

Нет, это не горы!

Думаю, ежели к небу камень теснится,

А пропасти пеной зеленкою моются,

Это твой в день Троицы

Шелковые взоры.

Где тропинкой шелковой,

Помните, я шел к вам,

Шелковые ресницы!

Это,

Тонок

И звонок,

Играет в свирель

Пастушонок.

Чтоб кашу сварить,

Пламя горит.

А в омуте синем

Листья кувшинок.

<Май – июнь 1918>

#### Борис Фальков

(1946-2010) Мюнхен, Германия

# ВОЗВРАЩЁННЫЙ ОРФЕЙ

(фрагмешны из цикла)

- Я всматриваюсь в вас, о числа, и вы мне кажетесь одетыми в звери.
- Ветер бросает нечет и чёт, тихо стоят невода.
- *И грядет бесшумно зверь* парой белых нежных чисел!

Велимир Хлебников

Земное время описало очередной свой круг. Возвратились давно сбывшиеся события и спетые песни. Одни пришлось заново пережить, другие наново переписать. Теперь достаточно сравнить тот их вариант с этим, чтобы убедиться. Только вот - в чём?

Вопрос опасный: что именно в них содержится? То есть, что оправдывает существование событий и песен? Вопрос не ценности, и даже не смысла, а присущих им значений.

Это так. Ведь это те же песни. Они всё это время существовали, не важно - где, важно, что они были и есть. Как был, и значит - есть октябрь 66-го, когда я, подобно Орфею, вышел в очередной раз из-под земли на Невский, подталкиваемый ровно дующим в спину ветром. А это, в свою очередь, возвращает к тому, что в 46-м я вышел... откуда? О, я-то помню - откуда. И числа эти незабываемы. Значит, все они тоже есть.

Накануне я переночевал в келье новгородского Кремля, после того, как проплыл по Волхову, лёжа в лодке. В старину, говорят, это проделывал Садко. А в 66-м, после посещения одноименного ресторана, я: тоже певец и гость, только небогатый. Вступив с ними обоими в тесный контакт, я уложил это событие в нечётную строфу, вместившуюся между «татары» и «китайцы». Через 33 года вместимость строфы расширилась до «земли», и она стала чётной. Всего лишь? Ну да, только и это дело не такое простое, каким кажется. Подобно числу 33, оно лишь притворяется простым, пользуясь тем, что и впрямь состоит из простых, а одно из них просто-таки совершенно в простоте своей... Кроме того, чем богаты - тому и рады.

Жаль, не все разделяют это мнение. Вот, к примеру, новгородская земля богата костьми. Среди них особо ценные, кости бедного рыцаря-меченосца Хлебникова. Но рада ли этому земля? Нет. Она буйно радуется другим певцам: Садко, Александру Невскому и даже, что совсем уж странно, Ивану Грозному. А ведь кости

Хлебникова куда, казалось бы, звучнее прочих. Тогда, в 66-м, я впервые осознанно прогремел его костями как своими собственными. И сегодня снова делаю то же. Пусть никого не обманывает иное звучание вновь прокатившегося того же грома, искажённое обличье повернувшихся к самим себе песен. Перевернувшихся? И это пусть... Сами собой выпавшие пары чисел «66 - 99» вполне оправдывают такой перевертыш.

Разве нет? Вон, 33 года наземной работы исказили мне лицо до неузнаваемости, а всё-таки оно - то же.

#### Опасные тождества

# Я всматриваюсь в вас, о числа, и вы мне кажетесь одетыми в звери.

Как только Лис начинает нарушать спокойствие Леса, пытаясь выяснить основания родства между собой и им; Как только Лень начинает затуманивать глаз Лани, поставляя её ножу охотника;

Как только похотливое Море начинает ощупывать ягодицами волн происхождение Мора;

Я надеваю леперьину и прохожу перед ними, вкладывая в движения крыльев суровое одобрение.

# И грядет бесшумно зверь парой нежных белых чисел.

Делаю я это сразу же по возвращению из Аида, регулярно, каждый раз через 24(х) года после схождения туда. Все они день один.

Это сутки Орфея, полный круг его вращения вокруг себя: возвращение к себе. Суточному числу подчинены и 24 песни этого цикла.

Между схождением в Аид Пушкина и возвращением на землю Хлебникова 24(2) года. Между схождением Хлебникова и моим возвращением 24. Те же числа, те же пары, столь же полный чёт. Не исключено, конечно, что однажды выпадет нечет и Орфей не возвратится.

# Ветер бросает нечет и чёт, тихо стоят невода.

По меньшей мере, не оглянется. Кого выведет он тогда из подземелий, что за песни - можно только догадываться. Известно только, что все они далеки от совершенства, даже самые совершенные из них.

И, следовательно, не следует предпочитать одну - другой. Как знать, что в очередной раз вынесет на поверхность земли он, ровно дующий из Аида ветер.

## Виктор Левенгарц

## Вторая реальность

Убрать из своей мастерской всё, кроме правды сердца, кроме старых и вечных истин: любви, чести, жалости, гордости, сострадания, самопожертвования, без которых любое произведение эфемерно и обречено на забвение.

Уильям Фолкнер

В Германии увидела свет **Золотая книга** – «Альманах поэзии участников Международных поэтических турниров в Дюссельдорфе»<sup>1</sup>.

«Этой книги не было бы, если бы с 2001 года по 2010 год не проходили Международные поэтические турниры, в которых участвовали все авторы будущей «Золотой книги», - так начинает предисловие к ней президент и организатор этих турниров Рафаэль Айзенштадт.

Аахен, Бохум, Вупперталь, Дюссельдорф, Кёльн в Германии; Москва, Санкт-Петербург в России; Мельбурн, Франкстон в Австралии; Минск в Белоруссии; Ашдод, Тверия, Хайфа в Израиле; Оттава в Канаде; Лос-Анжелес, Нью-Йорк, Сент-Луис, Чикаго в США; Киев, Николаев на Украине - вот неполный перечень стран и городов, откуда поэты присылали стихи и приезжали на турниры в Дюссельдорф.

Произведения 110 из 1700 участвовавших в турнирах поэтов заполнили страницы этой книги.

Сейчас проводится много состязаний поэтов, пишущих на русском языке, - в Дюссельдорфе, Штутгарте, Лондоне, Нью-Йорке, Хайфе и в других местах.

Поэтические турниры начались в Дюссельдорфе, в 2001 году, когда... Нет, начались они не в Дюссельдорфе, а на юге Франции, в Провансе, и значительно раньше, в XI столетии, когда трубадуры, поэты-певцы, сочиняли изысканные, виртуозные стихи и песни, соревнуясь друг с другом в создании новых стихотворных форм. Они воспевали любовь, которая требовала совершенного поэтического воплощения, и стремились к филигранной отделке своих песен, тщательно их шлифовали, заботясь о красоте и мелодичности. И позднее, уже в Германии, в XII - XIII веках стихи сочиняли миннезингеры - поэты-музыканты, рыцари, - подражая служившим для них примером французским трубадурам.

А в 2001 году в городе, где родился и провёл первые годы жизни великий поэт Генрих Гейне, состоялся первый турнир. Слушатели, пришедшие на поэтический праздник, «от жажды умирали над ручьём» (соответствующая строчка из стихотворения французского поэта Франсуа Вийона стала девизом

ЗОЛОТАЯ КНИГА Альманах поэзии участников Международных поэтических турниров в Дюссельдорфе. «Русский анонс» Дюссельдорф, 2011, 667 с., илл. Сайт турнира в интернете: <a href="www.turnir-poesie.de">www.turnir-poesie.de</a>

турнира), не успевая «напиться», потому что поэты выступали один за другим, и поток поэзии быстро, как вода ручья, менял свой голос, свою окраску.

Как и в природе, вначале поток не был бурным, а только набирал силу. Но в следующем году был второй турнир, а потом третий, четвёртый, пятый... И так каждый год до 2010, когда состоялся последний, десятый.

Чтобы попасть в Дюссельдорф, нужно было пройти региональные состязания по месту жительства. А места жительства - это весь, или почти весь, мир.

Каждый турнир имел свой девиз из стихотворений поэтов разного времени от Франсуа Вийона, жившего в XV веке, до Беллы Ахмадулиной, поэтессы XX и XXI веков. (Её строка «Мы все прекрасны несказанно...» стала девизом четвёртого турнира.)

Основная цель таких турниров, проводимых не в России, заключается не только в соревновании, не только в поисках и открытии новых талантов, но и в сохранении и развитии русского литературного поэтического языка. Вспоминаются строчки Анны Ахматовой:

И мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово.

(«Мужество»)

и Ивана Бунина:

Умейте же беречь Хоть в меру сил... Наш дар бессмертный - речь. («Слово»)

В альманахе много стихов, посвящённых русскому языку. И куда бы ни забросила судьба, « я обручён навечно с русской речью», – пишет Владимир Кац из украинского города Одессы.

Но ближе всех из разных языков Родной язык мне, несомненно, - русский.

- вторит ему Семён Майданник из немецкого города Гельзенкирхена.

Сохранение языка, его преемственности — одно из предназначений поэзии. Возможно поэтому многие стихотворцы отдали дань своим именитым коллегам. Примерами могут служить цикл «Поэты» москвички Антонины Беловой, в котором соседствуют стихи памяти Ахматовой, Гумилёва, Мандельштама, Цветаевой, Маяковского и более поздних, наших современников Твардовского, Бродского, и стихотворение Вадима Халуповича, бывшего петербуржца, ныне живущего в Хайфе (Израиль), «Марина. 1941 год». Есть несколько посвящений Высоцкому. Это преклонение перед ними, перед их судьбами.

Язык, и не только поэтический, — это то, что связывает людей между собой, со страной, где прошли их детство, юность, взросление, - то, что остаётся навсегда. Память о детстве в «крае своём родном, тополином» в пронзительном стихотворении Абрама Эленбогена из того же города Хайфы «Тополиный край», полном нежности, щемящей боли и грусти, ассоциируется с Россией.

И вот участники конкурсов выходят на подмостки и со страстью и азартом читают стихи. Вспышками, сиянием света поэтические строчки всегда озаряли прекрасные мгновения. «Поэт — что малое дитя» (начало одного из стихотворений Бориса Чичибабина - девиз третьего турнира). И это правда. Поэт

видит и чувствует мир сверкающим и ярким, каким он видел и чувствовал его в молодости, в юности и, наверняка, в детстве. Патина времени не заглушает чистоту этих ощущений. Полученное потрясение, прошедшее через годы, сохраняется.

Подобно артисту в театре, поэты, порой перевоплощаясь, живут чувствами своих героев, их волнениями.

Поэт, похожий на Пьеро, С душой, чувствительнее скрипки,

- говорит Антонина Гутова («Пьеро») из города Потсдама в Германии, и у такого поэта мир Пьеро — мир чувственного, духовно ранимого человека, взрослого ребенка - всегда находит отражение в стихах.

Как музыкальные инструменты вместе составляют оркестр, так и участники турниров представляли поэзию - часть безбрежного моря литературы. Они погружали слушателей (и позднее, после выхода очередного сборника, читателей) в свой духовный мир, открывали поэтические образы и романтику лирических стихов, драматическую напряжённость и печаль своих раздумий, порой доводя их до философских обобщений. В каждом из турниров было открытие таланта, нового поэтического имени. Как заметила та же Антонина Гутова: «У каждого – своя палитра чувств».

Наверное, главным действующим лицом в представленных в альманахе произведениях является Время.

Я - летописец. Я оставлю В мой век открытое окно. —

утверждает Любовь Знаковская из города Тверия (Израиль). Владимир Кац говорит:

Я жил на рубеже тысячелетий, На вечность наведя свой объектив...

У разных авторов и ипостаси Времени разные. Вот Время – война. Эта тема пронизывает весь альманах. Как обнажённые нервы, как струны под смычком звучат строчки стихотворений:

«Мой брат» Григория Галича из Ганновера (Германия):

Мой брат остался на войне, Под Ленинградом, в сорок первом. Он до сих пор живёт во мне Натянутым звенящим нервом.

«Вместо биографии» Сарры Лейзерман из Нюрнберга (Германия):

Я родилась за месяц до войны. Эвакуация, бомбёжки, голод, страх...

«Последнее письмо» Фридриха Золотковского из Гамбурга (Германия):

Кровавые бинты, с медалью гимнастёрка, что дымом, потом пахнет на войне.

Война — это и опалённое войной голодное детство, и не только в блокадном Ленинграде. Память детства, остающаяся надолго, если не навсегда, несмотря на годы, отдаляющие от того Времени, эхом звучит в стихотворении Ирмы Ланцман (Бонн, Германия) «Баллада о ежевике»:

Вдруг нахлынуло детство: Страх, Бомбёжки — Война.

В философском стихотворении «Как по тонкому льду, я по жизни иду» Эдуарда Максимова (Иерусалим, Израиль) Время воспринимается как связующая нить событий в прошлом, настоящем и будущем. Поэт задумывается о жизни, о том, что же в ней было и есть важное, нужное, существенное. Как Пушкин устами Ленского спрашивает: «Что день грядущий мне готовит?...», так и Максимов задаётся таким же вопросом: «Мне неведомо, что день грядущий сулит...» В этих размышлениях тревога и беспокойство:

Можно ль счастье своё навсегда сохранить? Мне б сегодня к любимой внимательным быть, Не солгать бы друзьям, не предать бы мечту.

В книге представлены произведения поэтов разного возраста. Их творчество тоже отражение Времени. И молодые, и среднего возраста, и те, кому за 70. Люди разные по профессии, по роду занятий и по судьбе. Одни вернулись к тому, чем с любовью занимались много лет назад, другие начали свою дорогу в мир поэзии недавно, ибо для выхода того, что было внутри, наступило Время, и они, «...несмотря на возраст и здоровье, / Не экономя, тратят жар души». (Геннадий Покрывайло, Франкфурт-на-Майне, Германия). Их стихи наполнены музыкой, певучестью. Если бы им задать вопрос, что побудило их вернуться к поэзии или прийти к ней, они ответили бы очень коротко: иначе не могут. И, благодаря этой невозможности жить иначе, они пишут стихи.

Стихи – моя единственная сила, Без них я в одночасие умру.

- говорит Ирма Ланцман. «Я не ищу слова — они меня находят» - говорит Борис Эскин (Назарет, Израиль). И если они тебя находят сами, то это уже не просто слова, а отражение души, преодоление неведомой тяжести невысказанных чувств.

Часто взгляд цепляется за строчку, и она его держит, не отпускает, а когда отпустит, то хочется к ней возвратиться. «Дождинками дрожат слова,...» - написала Наталья Пендл (Лампертхайм, Германия). И видишь эти слова, только что сорвавшиеся на бумагу, как дождинки, упавшие с листьев дерева. «Вот и ветер, свернувшись, уснул, как дитя,...» - это почувствовала Ульяна Шереметьева (Потсдам, Германия). «Море — оно тихонько шелестит прибоем...» - услышал Александр Перлов (Ашдод, Израиль). «Золото листьев на мокром асфальте» - так написала Сарра Лейзерман, создав яркий живописный образ. Дождь, ветер, море, осенние листья — это голоса природы, её душа. Господи, как хорошо, когда её слышишь, когда её жар не угасает! Наполняя своей эмоциональностью увиденное, услышанное, замеченное, поэт может выразить это красотой,

певучестью стиха, - языком, более кратким, более образным и ёмким, чем язык прозы.

В альманахе нет раздела «Переводы», но они представлены. Москвич Александр Кузнец перевёл «Лорелею» Генриха Гейне. (Думаю, трудно найти стихотворение этого поэта, которое бы переводили столько раз, сколько «Лорелею»: Александр Блок, Самуил Маршак, Вильгельм Левик и много других). Александр Танин (Ганновер, Германия) - с немецкого стихотворение Вольфа Бирмана «Кладбище на Монмартре», Эдуард Максимов - с иврита стихи Аделины Клайн «Заманивает тайна языка...», Любовь Гольт - с немецкого стихотворение Роберта Вебера «Связь», Ольга Шварц - с французского стихотворение Гийома Аполлинера «Мост Мирабо». Есть в книге и другие переводы.

Поэты пробуют себя в этом трудном деле. Почему трудном? Потому что каждый перевод — это уже другое произведение, и трудность заключается в том, чтобы оно было адекватно оригиналу по многим параметрам. Это не только переложение поэтического текста на другой язык, а, скорее всего, переложение и сохранение эмоционального состояния, внутреннего мира поэта. По-моему, слово «переложение» здесь уместно, ведь существуют переложения музыкальных произведений, а настоящая поэзия всегда музыкальна.

«Мы будем счастливы, мой друг...» - эта строчка из стихотворения «Письмо в Москву» Наума Коржавина стала девизом последнего десятого турнира. Мы будем счастливы, погружаясь в мир поэзии. Ведь говорил и надеялся Достоевский, что «красота спасёт мир!». Чувство прекрасного порождает любовь и доброту. Они тоже могут спасти мир.

Как семена Добра стихи мои,

Я собирал их в радости и боли... (Семён Майданник).

Возможно поэтому многие стихотворения в этой книге, по образному выражению Инны Саниной (Вест Голливуд, США), «золотые слитки духа». Поэт видит то, чего не увидишь глазами. Он видит сердцем, только оно зорко. Сказал же Экклезиаст: «...и ходи по путям, куда влечёт тебя сердце...».

«Здесь сколько судеб – столько и сюжетов!» - начало третьего сонета из венка «Пишу об эмиграции венок» Геннадия Покрывайло. Это относится и к книге, ибо каждый человек – это судьба. И каждая судьба – это своя сага, своя история.

Нужны ли поэты в современном прагматичном мире? В чём тайна языка поэзии? Как отзовётся поэтическое слово в душе человека? Это **«нам не дано предугадать»** (строчка, ставшая девизом пятого турнира), утверждает Фёдор Тютчев.

Не всё, конечно, ровно в этой книге. Есть и стихи, содержание которых было бы лучше изложить прозой. Есть и случаи, где прозу пытаются зарифмовать и получается не стихотворение, а рифмосложение без поэзии. Иногда, как сказала поэтесса из Москвы Светлана Савицкая, не надо «спасать стихи от прозы», а лучше написать прозой.

Поэтические турниры - это праздники для участников и для слушателей, потому что литература, в том числе и поэзия, — это «...огромный мир, построенный талантом и воображением людей, осмелившихся заглянуть в глубину своего Я, увидеть его неповторимость... построить удивительный мир, который в

чём-то прекраснее и сложнее жизни, в чём-то хуже и проще, а иногда и заменяет реальность».<sup>2</sup>

Каждый, кто прочитает «Золотую книгу», будет счастлив, ибо он войдёт в ведомый или ещё неведомый ему, полный красоты, Мир Поэзии, приобщится к миру любви, доброты и сострадания, ощутит, почувствует и насладится его духовностью, его глубиной и ни с чем несравнимым ароматом, жить без которого трудно, а порой даже и невозможно.

Вупперталь, 26.07. – 15.08.2011

 $<sup>^{2}</sup>$  Галина Педаховская Ночь в Амстердаме, Дюссельдорф, 2003, 104 с.

### Die Tolstoi-Bibliothek wird gefördert durch den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Die Tolstoi-Bibliothek ist auf Spenden angewiesen. Bitte unterstützen Sie uns durch eine steuerlich abzugsfähige Spende auf unser Konto:

Толстовская библиотека нуждается в пожертвованиях. Все пожертвования списывается с налогов:

Nr. 78 24 302 (BLZ 700 205 00) Bank für Sozialwirtschaft, München Tolstoi Hilfs- und Kulturwerk, e.V.